

АЛЕКСАНДР БУХАРЕВ

МОЙ ГЕРОЙ

Александр Матвеевич Бухарев

Мой герой

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24531309

Мой герой: 1871

Аннотация

«...Как это, спросит иной читатель: автобиография и, однако, с заглавием «Мой герой»? В объяснение этого я должен сказать, что название «герой» я употребляю здесь не в смысле какого-нибудь героизма умственного, нравственного, жизненного, а в простом смысле главного действующего лица в рассказе...»

Содержание

Часть первая. Происхождение и воспитание моего приятеля	5
Часть II	10
Часть III	13

Александр Матвеевич Бухарев Мой герой

Как это, спросит иной читатель: автобиография и, однако, с заглавием «Мой герой»? В объяснение этого я должен сказать, что название «герой» я употребляю здесь не в смысле какого-нибудь героизма умственного, нравственного, жизненного, а в простом смысле главного действующего лица в рассказе. Моему рассказу придется касаться многих, важнейших для современного и будущего развития человека, вопросов – разных усилившихся направлений мысли, жизни и общей основы для мысли и жизни – веры. Такому рассказу следует быть как можно более беспристрастным, и даже бесстрастным. И вот, чтобы в самой форме или образе рассказа не положить его истинного начала, а, напротив, чтобы относиться и к себе самому, или к собственному своему делу, как стороннему для меня предмету, мною только изучаемому, я берусь писать историю моего героя ¹ 14 сентября – день Воздвижения Креста Господня, 1870 г.

¹ Я позволил себе переменить в рассказе имя герой, слишком громкое, на имя приятеля. – *Изд.*

Часть первая. Происхождение и воспитание моего приятеля

*Был свет истинный, который просвещает
всякого человека, приходящего в мир.
Иоан. 1, 9.*

Мой приятель по происхождению из духовного звания. Но он не принадлежит к тем типам из духовного звания, какие известны нам из литературы и отчасти из самой жизни. Он не мог, не умел, да и не хотел ладить с привычным складом жизни и мысли духовной; ни с чем мертвотрутинным он как-то не уживался и не мирился, хотя всегда был самым миролюбивым человеком. Но он не имел ничего общего с теми, которые хотели бы сбросить с себя, как тяжелое и ненавистное бремя, все, что сколько-нибудь отзывается прирожденным для них духовным. Напротив, для «моего приятеля» было навсегда неприкосновенною святынею живое существо духовного звания. Он немало работал в жизни, был стоек в образе мыслей и в правилах, но нимало не походил на тех дельцов из духовного звания, которые своею стойкостью в работах и стремлениях своих умели прокладывать себе выгоднейшую карьеру и крепко усаживались наконец на очень почтенных и тепленьких местах. Напротив, «мой приятель» всегда был образцом житейской непрактич-

ности, так что об нем знакомые его обыкновенно отзывались: «Это только он один мог так повредить своей карьере, только он один мог поступить так наивно-нерасчетливо». Вообще, по своему духу и развитию «мой приятель» составляет нечто особенное в своем роде, – особенное, можно бы сказать, чуть-чуть не до уродливости, если бы обычное развитие большинства и разных видов меньшинства в родном «моему приятелю» круге носило признаки здоровой нормальности. Но здраво-нормальное в это время, которому принадлежит «мой приятель», у нас повсюду только еще вырабатывалось, не успев выработаться, кажется, еще и до настоящих дней, поэтому трудно пока с точностью и разобрать, что именно было уродливого и здорового в развитии «моего приятеля». Во всяком случае, однако ж, история «моего приятеля» должна добраться, по крайней мере, до семян слишком своеобразного его развития.

Изучая «моего приятеля», я действительно старался отыскать ключ к разрешению тех странных его особенностей, что, например, одни и те же обстоятельства и предметы, которые располагали и вели его товарищей к тому или другому, его направляли и приводили к совсем иным, противоположным этому тому или другому результатам, что в нем, природном кутейнике, внимательный наблюдатель всегда находил меньше известного духа кутеизма, чем и в таком его товарище, который в духовное звание и образование привзошел отвне.

Нет ли у него основания этой особенности в самой кро-

ви, думал я, разыскивая родословную «моего приятеля» по рассказам его отца, дяди или деда? Конечно, не много мог я открыть по этой части, но кое-что все-таки открыл. По матери «мой приятель» был рода духовного, можно сказать испокон века, так что его дед, прадед и прапрадед были, один за другим, священниками в одном известном селе. Но по отцу род «моего приятеля» упал и до крепостного состояния, хотя исходил из старинного дворянства. Это было, кажется, в бироновщину, рассказывал мне дядя «моего приятеля», по крайней мере еще до указа Петра III о вольности дворянства вступать или не вступать в государственную службу. У нашего предка, одного из старинных и захолустных помещиков, было несколько взрослых сыновей, которым он не дал никакого образования; таких недорослей брали в военную службу наряду с мужиками – брали всех, кто не успевал куда-либо скрыться навсегда. Спасаясь от этой грозы, один из тех неучей – сыновей помещика, хотя и был сам природным дворянином, закабалил себя в крепостные другого дворянина. В крепостном состоянии завелся он хозяйством и семейством, женою из крепостных; умея кое-как писать и читать, он мог служить закреповтившему его барину чем-то вроде земского писца. Случилось умереть в том приходе старику-священнику. Барин, не желая ли иметь своего брата-дворянина в своих крепостных или желая иметь у себя и священника – собственного крепостного, представил своего писца архиерею для посвящения в иерея.

Может быть, читатель, я ошибаюсь, но, узнав такую родословную «моего приятеля», мне кажется, я лучше понимаю его с некоторых очень характерных его сторон. Он всегда был самостоятелен и независим в своем образе мыслей и жизни, как природный, так сказать, джентльмен, как дай Бог быть самому чистокровному русскому дворянину. Но вместе с этим у него с детства замечалось и какое-то странное, родственное забитости крепостного состояния, малодушие, по которому, например, он иногда молчанием подтвердит или одобрит, по видимости, чье-либо такое слово или дело, которые ему в душе решительно противны и с которыми собственное его слово или дело всегда идет вразрез; а если выразит несогласие, то как-то беспокойно, с усилием, как будто он чего или кого боится. Особенно замечалось это у него в молодые годы, с самого первоначального детства, когда он был баловнем в семействе и любимцем, за свои дарования и успехи, школьных начальников; в поздние годы он успел достаточно побороть в себе это странное свойство, бывшее у него словно в крови. Он сам чувствовал подчас какое-то кровное родство с мужиками и бабами, которым, случалось, и передавал свои самые заветные думы, как родным; и они слушали и понимали его, как родные родного, хотя он и не подделывался к их образу речи. Но он также живо принимал к сердцу и интересы или честь духовенства и дворянства, как будто оба эти сословия были ему своими, родными.

Попробуй при нем унижать и порочить наше духовенство.

Он с жаром и иногда с горечью станет говорить следующее: «Ну да, в нашем духовенстве есть и пьянство, и все, что вам угодно. Но вы забыли взять во внимание безделицу, но такую, которая выкупает многое: по моему мнению, безделица эта состоит в том, что наши духовные, за ничтожным исключением, предстоят престолу Божию с искреннею верою, что они сохранили и передают нам целым сокровище православия, хотя бы и слишком мало еще взвешенное и разумемое и ими самими в их большинстве. Вот была бы неискупимая для России беда, как если бы стали надевать у нас стихарь и ризу люди с неверующим умом и сердцем!» Не находя, что возразить против этого, иные слушатели замечали только одно, что это он горячится за духовных потому, что сам того же рода; родовая-де кровь кипит. Ныне думается, что есть в этом замечании и доля правды.

Удивительное Божие создание человек! «Свет истинный, сказано, просвещает всякого человека, приходящего в мир». Даже и то, что относится только еще к предварительному приготовлению прихода того или другого человека в мир, озарено вышним светом; и по крайней мере, мерцания этого света обозначаются потом и могут быть выслежены в самом этом человеке...

Часть II

Отец «моего приятеля», сельский диакон, был человек кроткий, добродушный, миролюбивый, любил читать, рассуждать, разумеется, что и как было сподручно ему в его положении. Мать была духа горячего, проявлявшего свою горячность, разумеется, в делах домашних, в заботах житейских. Эти родительские черты можно было разглядеть и в грунте характера «моего приятеля», но они сложились здесь так, что горячность легла у него по преимуществу во внутренней глубине его, а совне он был всегда почти тих и скромнен до какой-то робости. Примечательно еще, что сколько ни был он непрактичен в делах житейских, но он никогда не был равнодушным к внешнежизненным потребностям, нуждам и нестройностям.

В период матернего чревоношения «моего приятеля» случились с обоими его родителями особенные обстоятельства, очень тяжелые по своему действию на них, болезненно отразившиеся в физической и духовной организации и их сына. В первую половину этого периода отец от каких-то причин совсем было оглох, так что и служил в церкви несколько догадками и соображениями, почти ничего не слышав из пения и чтения. Если бы так осталось у него, он не мог бы удержать за собой диаконского места, доставлявшего ему и его семье все жизненные потребности и средства. Беременная мать не мог-

ла не снестаться сердечною тоскою от этих обстоятельств. В половине ее беременности отец стал слышать, но за три месяца до разрешения сама мать с ужасными страданиями потеряла свой правый глаз. Мне хочется рассказать некоторые подробности этого несчастного обстоятельства. Диаконица, тогда еще молодая женщина, выгоняя свою домашнюю корову из сенец, куда эта забилась своевольно, ударила ее попавшейся в руку лучиной. От лучины отскочила небольшая спица, и прямо в зрачок правого глаза беременной женщины. Можно представить жестокую боль от этого. Но надо взять во внимание, что это было лет почти за 50 доселе; не только доктора, но и фельдшера мудрено было достать. Обратились за помощью к какой-то деревенской лекарке, которая и стала лечить пораненный в самом зрачке глаз, как обыкновенно лечила мужицкую руку или ногу от занозы, именно какою-то едкою припаркою. Надо было выносить чуть не адские страдания от такой медицины. И уже недели через две, когда боль сделалась совсем невыносимой, нашли страдавшие от такого горя доктора в своем уездном городке; но и докторское мнение ограничилось только осмотром больной и каким-то лекарством, выданным ей из домашней аптеки доктора. Чревоносимыи ею плод остался жив и при таких страшных ее страданиях. Но я именно этими, описанными сейчас обстоятельствами, объясняю то, что «мой приятель», по собственному его выражению, даже не запомнит, когда он дышал свободно и легко, или вполне здорово. Такая физиче-

ская его болезненность, усиленная еще недолеченною желтухою, случившеюся с ним на 10-м году, не могла не действовать и на душевные его движения, в которых и замечалась то нетерпеливость почти желчная, то вялая унылость. Да! Хорошо делает нынешнее земство, что старается, по возможности, повсюду усилить и распространить медицинские пособия. Иначе, может быть, сложилась бы вся жизнь и судьба «моего приятеля», если бы это было и лет за 50. Но, видно, так нужно было для такого именно устройства его судьбы и жизни, какое совершилось, а не для другого!

Часть III

Детская жизнь и первоначальное воспитание «моего приятеля» были в домашней семье. Он был любимцем и баловнем и своих родителей, и трех сестер своих, из которых две были его старше, а третья моложе, и даже сторонних людей, имевших какое-либо близкое отношение к этой семье. Чем это объяснить? Что до родных, они были вообще такие любящие, и особенно любящие родственно близких; мальчик же в их семье во все почти время домашней его жизни был один – ему было уже восемь лет, когда родился в семье еще один мальчик. Но это только отчасти объясняет, и то только в его родной семье, особенное влечение к нему; а оно заметно было и в сторонних.

Сколько мне известно, «мой приятель» с самого детства располагал и влек к себе других людей: немножко – своими бойкими дарованиями по учению, более – своею открытою, добродушною общительностию с другими, более же всего, кажется, тем, что у него сквозь всегдашнюю его скромность и даже боязливость обыкновенно просвечивала какая-то внутренняя живость, какой-то огонек, всегда теплившийся в его душе. Помнится, однажды, еще в отроческом кругу товарищей, когда среди веселого их говора и шума «мой приятель» тихо стоял в уголку, один из них вдруг обратил на него общее живое, веселое внимание. «Смотрите, смотрите, – ука-

зывал он на него другим, – как почти каждую минуту вспыхивают у него глаза; вот, вот – ведь это живой огонь». Не все так прямо и ясно замечали этот внутренний его огонек, но все его чуяли; и все, естественно, так сказать, жались к этому душевному огоньку, ведь нравственная наша атмосфера везде довольно сыровата – рады и маленькой живой искре. По этому-то свойству «моего приятеля» у него с отроческих до последних лет, во всяком его положении и обстоятельствах, не скудели задушевные, интимные друзья, друзья не до черного лишь дня; родители, сестры были, еще в детстве его, точно задушевные его друзья. Сам отец нередко рассуждал с своим любимым мальчиком, как с другом; и это делалось как будто и не по снисходительности, нарочно или намеренно спускающейся до детского уровня, – по крайней мере, не по одной такой снисходительности, а порой и по какому-то уважающему расположению к отроку, как к ровне. Мальчик же был удивительно понятлив; читать всякие книги славянской и гражданской печати он выучился, как будто во все не учась. Толковать с отцом или слушать, как он рассуждает с умными людьми, – это было наслаждение для странного мальчугана, предпочитаемое им всякой ребяческой игре. Открытое лицо, всегда готовая улыбка, умные детские ответы на вопросы, общежительная откровенность без навязчивости – это были также не отталкивающие, а привлекающие черты. Представьте же теперь такого крошку, чуть видного от земли (рост его был тугой, болезненный, всегда несо-

размерно с годами малый), читающим на всю церковь «часы», «каноны», «паремии» и «кондаки», читающим внятно, слышным живым смыслом. Случалось, что и образованный посетитель храма из соседних помещиков заслушивался и симпатично заглядывался на мальчика. А то и в лесу, куда он любил ходить за грибами с своим отцом, этот мальчуган случайно разговорится с поповшимся мужиком и так иногда, сам того не ведая, разогреет его душу, что тот так и заслушивается. «Есть в тебе Божия искра», – сказал один из таких лесных слушателей мальчику, расставаясь наконец с ним. А то случалось иной деревенской бабе, зашедшей к отцу его в зимовку с грудным ребенком, заговориться с мальчиком, как Христос любил малых детей, как Он Сам был мальчиком: баба как-то выпрямлялась, черты ее облагораживались, и маленький проповедник с боязливым уважением смотрел на нее, как она, при выходе из дома, глядит и молится на св<ятые> иконы. Родителям его, разумеется, все подобное было сладко.

Но взглянем и на обратную сторону медали. Не очень хорошо слишком ласкать и выхвалять детей. «Мой приятель», впрочем, надо сказать правду, не надмевался и не тщеславился общею любовью и каким-то подобострастием к нему окружающих. Он не любил и, кажется, искренно огорчался, когда его слишком хвалили не только сторонние, но и самый отец. Беда подошла с другой стороны. Детский возраст требует резвости, любит играющую веселость, в кото-

рой, с одной стороны, прямой исход и естественное здоровое применение нашла бы себе внутренняя живость «моего приятеля», а с другой – физическая его слабость и болезненность имела бы самое простое и вместе самое действительное лекарство. Как хотите, но это необычайное в мальчике благоразумие, сознательно боящееся похвал себе, как-то слишком скороспело, не по силам возрасту детскому, для которого, особенно в живом мальчике, все же неизбежны разные ребяческие шалости. Отсюда произошло вот какое нравственное несчастье для «моего приятеля»: самые даже невинные, а не только предосудительные шалости допускались им, так сказать, «за углом», без детской прямодушной или наивной открытости, напротив, с какою-то фарисейскою скрытностью; «мой приятель», извольте видеть, сознавал в подобных шалостях уже чрезвычайное преступление, которое, как слишком нетерпимое, естественно, и прикрывал тщательно от чужих глаз. Положим – и это совершенная правда, – что таких шалостей было немного, и бывали они редко, что едва ли не самая худшая из ребяческих проделок была: похищение с другими детьми горьких яблок с только что отцветших яблонь чужого сада, а другие – могшие бы только разве вызвать улыбку у всякого добродушного моралиста. Но зло было, собственно, в этой фарисейской закваске, могущей испортить все прекрасные задатки молодой души, в прокравшемся к мальчику направлении казаться более нравственным и скромным, нежели сколько это

было на самом деле, по собственному его сознанию. Нужды нет, что такое направление обозначилось в виде, несравненно меньшем самого горчичного зерна. И примечаете ли? Раз как допустил до себя мальчик эту закваску – порождение противохристианского фарисейского духа, тотчас оказалось в нем и действие яда общих похвал, до этого возбуждавших в нем искреннее отвращение. Маскируя пред другими свои детские шалости, даже невинные, он уже чрез это отстаивал свой пьедесталик, на который его ставила общая любовь и ласка. Впоследствии «моему приятелю» пришлось много страдать и горько плакать от развившихся плодов этого раннего несчастного посева на детскую еще его душу, – посева, поддержанного и оплодотворенного, разумеется, последующими влияниями и обстоятельствами. Зато ему же дано потом первому сказать и живое слово против равноиудейского и фарисейского духа, усилившегося и в христианстве, даже православном. Видно, нужно было сначала развиться во всех своих крайностях Савлову фарисейскому духу, чтобы, по сознанию его лжи и злоторности, тем энергичнее и обширнее мог воздействовать и раскрыться благодатный, властительно свободный дух Павлов. Эта большая мера применяется к «моему приятелю», разумеется, в соразмерности маленькой его мерки и только для того, чтобы малость его не закрывала собою великих путей величайшего вседержавного Отца, совершающихся равно и над великими, и над малыми детьми.

Тонкое и нежное чутье и влияние любящей матери могло

бы отвлечь или остановить нравственную опасность, подступившую незаметно для всех к ее любимцу.

Но не говоря о том, что по степени и характеру своего развития она никак не могла бы и разглядеть эту опасность, произошло с «моим приятелем» новое нравственное несчастье, которым парализовалось и с безотчетной сердечной стороны образовательное влияние на мальчика любящей матери. Выше уже было говорено о горячности ее духа, проявлявшейся в делах житейских и семейных. Случались в семействе не очень редко маленькие бури, поднимаемые разгоряченною женою против житейских недосмотров, оплошностей или недочетов мужа. Маленький их сын и во время и после разгара этих бурь, разумеется, сам и осуждал, сердцем и в мысли, свою любящую мать, которая горячилась ради детей же на несостоятельную иногда экономию их отца. Надо сказать, что «мой приятель» с самого, можно сказать, младенчества особенно любил своего отца; мать сама рассказывала, что много раз, когда, будучи еще грудным ребенком, он слишком расплачется от болезни или от чего другого, она должна была носить его в осенние ночи к отцу в овин, где он сушил для молотьбы рожь или овес, и на руках у отца разблажившийся ребенок скоро утихал, начинал весело смотреть своими глазенками и спокойно засыпал. Кроме того, слишком рано начавшему размышлять и читать мальчику нетрудно было вооружаться в своей душе против матери, не щадившей каких-нибудь житейских ощущений или ошибок горячо

любимого им отца, – буквою строгой морали, внушающею «жене бояться своего мужа». Так произошло, что в мальчике подорвалось или очень ослабилось нравственное доверие и самое уважение к любящей матери. Это ничем не вознаградимое лишение – особенное в обстоятельствах «моего приятеля»! Это была ничем не выкупаемая беда! В последующие, уже зрелые его годы, когда он вел много сердечно-сокрушительных бесед об этом со своею, уже старушкою, матерью, никогда не перестававшей любить его всею горячностью материнского своего сердца, она тоскливо повторяла: «Если бы я это знала, если бы я это ведала... Но я ведь и в помышление свое не брала и не могла взять ничего этого». Видно, она чувяла своею любовью, что она нашлась бы помочь своему горю, если бы только своевременно могла судить о нем. Да, надо, надо заводить всюду женские училища и знакомить в них мысль и сердце будущих матерей с предстоящим им делом, с важностью и значением женщины и ее долга (душевного), а не внешнего только в отношении мужей, братьев, и особенно детей. Мужчины, не озабоченные устройством и благоустройством женских училищ, жестоко обижают самих себя. Я не поучаю, а только раскрываю смысл живых, вопиющих фактов из жизни «моего приятеля», – фактов, разнообразно и, по своей силе, равномерно повторяющихся и в весьма многих у нас жизнях.

В отношении к делу мысли, слишком рано (как уж замечено нами выше) пробудившейся в «моем приятеле», юная

духовная его почва была счастливее, нежели в других отношениях; и это также легло в основу всего последующего умственного его развития, но в основу уже благоприятную, благословенную. Не упреждая фактов, я могу, однако, сказать, что именно в мысли «моего приятеля» и заготовлялось на последующие, еще далекие его годы противоядие, или жизневременно-исцеляющее врачевство, против обозначенной нами выше нравственной его беды, обосновавшейся незаметно еще в детстве, ужасно опустошительной для духа в своем развитии.

Очень забавны факты, в которых впервые обозначилось движение мысли в «моем приятеле», делающей запросы или выводы, пытливой до дерзости. Однажды – а это было так рано в его детстве, что он сам почти ничего не помнит более раннего, – он, во время прогулки с ним отца, обратился к последнему с таким вопросом: «Должно быть, Бог беден, очень беден?» – «С чего это ты взял?» – спросил озадаченный отец. – «Да как же, – рассуждал мальчик, чуть еще не младенец, – вот Бог так любит бедных, так любит, чтобы и мы им помогали, не отказывали в милостыне. Видно, Он Сам беден; потому так и заступает за бедных». Отец, разумеется, растолковал мальчику, «что наш Бог богат» (эти слова «мой приятель» и в зрелые годы припоминал как буквально точные слова отца его), всем обладает, да и все от Него, но что Он такой уж милостивый, такой добрый наш Отец, что берет к сердцу наши нужды и бедность, как будто Он Сам

нуждающийся, и помощь бедным принимает так, как бы она Ему Самому оказывалась. Тут уж недалеко было отцу объяснить своему милому и любящему его мальчику, что Бог наш, по Своей любви к нам, бедным, грешным людям, Сам, видимо, приходил в наш мир, Сам сделался человеком, был сначала тоже мальчиком маленьким, и наши беды, особенно эту главную и коренную нашу беду – провинности наши пред Ним, взял действительно на Себя, как будто и действительно это были собственные Его беды и провинности; это похоже-де на то, как если бы, например, ты из окна увидел, что кто-нибудь несет бремя совсем не по силам и потому, собственно, не несет, а только падает с этим бременем, а ты, положим, мог бы легко поднять и снести эту тяжесть, и вот ты бы сам вышел к этому бедняку на улицу и взял бы на свои плечи тяжелое его бремя, так что оно уж бы тебя самого давило своею тяжестью, как и вправду твое бремя... Понимаешь? Вот так-то и потому-то Бог любит бедных, нуждающихся, обремененных людей.

Так в еще детскую душу «моего приятеля», по причине раннего раскрытия в ней умственной восприимчивости, всевались семена – если еще не разумения, то проразумения глубоко разумной простоты тайны нашего искупления, хотя и неисследимой по своей высоте и глубине, по широте и протяжению своего раскрытия.

Другой известный мне случай или пример обнаружения умственной пытливости «моего приятеля»-малютки еще ку-

рьезнее. Как-то в конце месяца духовный причт и, значит, также и отец его пошли в церковь не для богослужения, а для счета и поверки церковных сумм. Мальчик тоже не отстал от своего отца; в церкви, и именно в алтаре, посмотрев, но не заинтересовавшись, как считают деньги, он почел за лучшее хорошенько посмотреть на просторе, без народа, что есть особенно любопытного в иконостасе и других принадлежностях церковных. Внимание его остановилось, особенно, на резном или вырезанном изображении «Христа в темнице»: тут у Христа, видимо, такая голова, как у людей, руки такие же; Он так же сидит, только согбенный, подобно и нам, – стулик или скамейку, на которой он сидит, можно ощупать, так же как и все Его тело. Малютку вдруг занял, живо занял вопрос, такие ли у Господа и ноги, как у нас. Надо дознать, ощупать. Но гнев Божий поразит? А между тем так легко и просто ощупать. Загоревшаяся в мальчике пытливость не удержалась от искушения. Он зажмурился и, подойдя к вырезанному изображению, с трепетом не только души, но и тела, но с упругою и стойкою мыслию, начал осязать ступни, колена в изображении, поднимая для этого на нем самую одежду. В боязливой и торопливой беспорядочности своего дела и движений задел он лампадку перед изображением, она упала с большим шумом, раздавшимся по церкви, во всей обширной ее пустоте; масло разлилось по Христовой одежде... Весь причт, все до одного выбежали из алтаря, и вот пред ними, на месте и почти в действии пре-

ступления, растерявшийся мальчуган. Тут и без всяких слов и выговоров был слишком понятный и памятный для «моего приятеля» урок не быть пытливым до дерзости и потому до глупости и грубости.

Жизнь «моего приятеля», с детства и до поздних лет, никогда не была не только что богата, напротив, всегда слишком беднела радостями, не отравляемыми едкою горечью, не подтачиваемыми злым червяком; это была большею частью грустная жизнь, грустная иногда до трагизма. Мы видели, что и общая любовь к нему, еще мальчику, родных и окружающих была ему не в наслаждение, а на усиление злого для него искушения. Но в этой жизни всегда, с самого детства, текла одна свежая, светлая струя – это живая, смелая и любопытательная его мысль, явно или ощутительно для него охраняемая промыслом от фальшивых и злых односторонностей. Ребячески смешны, разумеется, сейчас рассказанные нами запросы малютки. Чей же, однако, это перст направил их к такому, и благотворному, разрешению, навсегда памятному и руководительному для «моего приятеля»...